



В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВ

Творчество Достоевского (Критический очерк)

<Фрагменты>

V

Главные герои в произведениях Достоевского: Макар Иванович Девушкин, Голядкин, Ефимов, Опискин, подпольный человек, Раскольников, Карамазов — все мещане, бьющиеся с нуждой, испытывавшие весь ужас и унижение бедности. Все это люди нервно-больные, озлобленные, угрюмые, замкнутые мечтатели. Если Достоевскому и случается иногда обрядить своих героев в костюм помещика или светского человека, например, Волковского, Мышкина, Свидригайлова, то, кроме костюмов, в них не сыщешь ни единой черты ни помещика, ни светского человека. Они оторваны от своей среды иногда даже с детства, как Мышкин, возвращаются в мещанской среде, даже побывали на городском дне, как Свидригайлов или Ставрогин. У них такой же психический склад, как у всех мещан, те же чувства, те же мысли. Они так же похожи на помещиков и светских людей, как троянцы Шекспира на исторических троянцев или греки Расина¹ на античных греков. И подобно тому как у Шекспира и Расина из-под греческих имен и костюмов выглядывает грубая фигура феодала XVI века или полированная фигура придворного XVII века, так у Достоевского из-под светского костюма выглядывает нервно-озлобленная физиономия изнедавшего нищету мещанина. Если вы хотите узнать, какая глубокая пропасть лежит между греками Шекспира и Расина, с одной стороны, и действительными историческими греками — с другой, читайте Гомера и Софокла. Если вы хотите ясно представить себе полное несходство светских людей и помещиков Достоевского с реальными помещиками и светскими людьми, читайте Тургенева и Толстого.

Как же живут герои Достоевского, как они чувствуют и о чем думают? Что за характеры складываются в нудной обстановке городских углов, в атмосфере гнетущей человека бедности, граничащей с полным разорением и нищетой? Ответить на эти вопросы, с моей точки зре-

ния, значит — дать полное представление о содержании творчества разбираемого художника. Я не собираюсь искать в произведениях Достоевского его миросозерцания, его политических или религиозных взглядов, потому что искать всего этого у художника — это все равно, что от пирожника требовать сапогов. Художник творит жизнь, а не системы, он не рассуждает и аргументирует, а живет, воображая себя с тем или иным характером, в той или другой обстановке. «Если я был счастлив когда-нибудь, — пишет Достоевский, — то это в те долгие ночи... когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими: любил их, радовался, печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим». Художник создает живые лица, характеры, а не систему идей, и анализ художественного произведения должен быть анализом живых образов, а не поисками взглядов и идей. Конечно, нет характеров без тех или иных симпатий социально-политических или философских, но в художественном произведении они не имеют самодовлеющей ценности; они служат для обрисовки характеров и сами имеют смысл в связи с живыми образами. Кто на основании отрывочных высказываний того или другого героя художественного произведения пытается построить философию, якобы заключенную в этом произведении, тот занимается никчемной работой, потому что он приписывает художнику то, чего у него нет, и не дает представления о том, что есть. Когда Розанов пишет свое исследование «Легенды о Великом инквизиторе», он совершенно забывает, что эта легенда — высказывание Ивана Карамазова, живой личности с определенным характером, у которого есть целая семья предков, проливающая свет на эту личность, что легенда не философия, а составной элемент характера. Когда Мережковский занимается Достоевским как религиозным мыслителем, он упускает из вида пустяк, именно, что Достоевский никогда не был мыслителем. Высказанные там и сям отдельными персонажами его произведений религиозные взгляды важны для понимания психологии его героев, но едва ли имеют философскую ценность. В произведениях Достоевского заключается жизнь с ее страстями, борьбой, чувствами, мыслями, а не философия. Исследователь может создать философию этой жизни, а не излагать в качестве философии то, что никогда не было ею. Поскольку Достоевский выступал в качестве публициста, он высказывал свои взгляды, развивал свое миросозерцание. Тут мы действительно имеем дело с его религиозными, политическими и социальными воззрениями, которые можно исследовать с точки зрения логической и фактической обоснованности, можно доказать их слабость и несостоятельность и выбросить, как хлам. Но в его художественных произведениях перед нами жизнь,

живые характеры, живые души, которые имеют всеобщую объективную ценность. <...>

<...> Бедный человек вечно боится стать предметом насмешки и издевательства. «Бедные люди капризны... он бедный-то человек, он взыскателен. Он и на свет Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову — дескать, не про него ли там говорят?» Подозрительный к себе самому и к людям, вечно занятый тем, чтоб поддержать в глазах окружающих свою честь и доброе имя, бедный человек становится чрезмерно самолюбивым. Он ужасно боится, что его бедность будет замечена, что это уронит его достоинство в глазах других. Он не только борется, не покладая рук, с нищетой, но и прилагает все силы, чтобы скрыть свою бедность, показать себя с возможно более выгодной стороны. Вот почему он сторонится от людей. У него есть склонность замкнуться в своем углу, спрятаться от людей, уединиться. «У бедного человека на этот счет стыд... Бедный человек не любит, чтоб в его конуру заглядывали», — пишет Девушкин. Пока его бедность не переходит той границы, которая отделяет его от нищеты, пока он умеет укрыть ее от глаз людей и защитить от оскорблений свое самолюбие, он моментами испытывает даже гордость, сознание своей независимости. «У меня кусок хлеба есть свой, правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый, но он есть, трудом добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать? Я ведь и сам знаю, что немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь; я работаю, я пот проливаю». Но наряду с этой гордостью он испытывает приливы чувства недовольства судьбой и самим собой. Слишком непрочно и жалко его положение, и каких трудов оно ему стоит! Он чувствует, что над его судьбой царит какая-то роковая власть, власть несправедливая. Он работает, он пот проливает и бьется в нищете, с трудом оберегая свою личность от унижения, а рядом столько баловней судьбы, счастливых ума недалежного, ленивцев. Что же это значит? «Отчего же это так случается, что вот хороший-то человек в запустении находится, а к другому кому счастье само напрашивается. И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь и веселись, а ты, такой сякой, только облизывайся». Ответить на этот вопрос он не в силах, но в этих словах слышится глухая обида, скрытое раздражение и недовольство. И эта обида чувствуется тем сильнее, чем сильнее он чувствует свое бессилие перед непонятной и несправедливой властью судьбы. Рядом с гордостью в глубине его души еще смутно волнуется сознание своего бессилия, своей ничтожности. И в тот момент, когда жизнь дает ему

слишком почувствовать шаткость его положения, когда, несмотря на всю энергию в борьбе за честь, он впадает в нищету, это сознание бессилия и ничтожности принимает резкий, болезненный характер. Он теряет уважение к себе самому; вместо гордости он впадает в самоунижение, вместо стремления скрывать свои недостатки является желание выставить их на всенародное издевательство. «Я и упал духом, — рассказывает он, — чувствуя поневоле, что я никуда не гожусь и что я сам немногим разве лучше подошвы моей, счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а, напротив, стал считать себя чем-то неприличным и в некотором роде неблагопристойным. Ну, а как потерял к себе уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут все пропадай, тут уж и падение». В груди Девушкина живут две души и одна борется с другой: душа гордая, ревнивая к своему достоинству и другая униженная, потерявшая всякую веру в себя. Поглощенный борьбой за честь, Девушкин подозрительно осматривает себя, задаваясь вопросом: уважают ли его личность или нет? Можно ли уважать ее? Может ли он сам уважать себя? И вечно колеблется в ответе между гордым «да» и отчаянным, безнадежным «нет». Двойственность социального положения мещанина, колебание между достатком и нищетой сказались в этой раздвоенности психики. Двойник по социальному положению, мечущийся беспомощно между верхом и дном, он является двойником психически, переживая то приливы гордости и веры в себя, то приливы чувства унижения и беспомощности. В борьбе с унижающей личностью бедностью мещанин похож на потерпевшего крушение вблизи берега: он борется с бушующими волнами, все ближе берег, все растет надежда и крепнет вера в себя; но грозный вал, поднявшийся из бездны, снова уносит несчастного в открытое море и в бессильной злобе и отчаянии опускаются руки; «тут уж все пропадай», это гибель. Для Девушкина желанный берег — «честь и доброе имя», его личное человеческое достоинство, а бедность и грозящая нищета — те бурные валы, которые преграждают путь к желанному берегу. Чуть мелькнет надежда выплыть — в нем просыпается гордость, сознание своего человеческого достоинства; утрачена надежда — утрачена и гордость, он перестает считать себя человеком. Тяжелая мучительная борьба происходит в его душе, в которой одновременно живут болезненное самолюбие и болезненное самооплевание, большая гордость и болезненное унижение, элементы не только противоположные, но и враждебные, как Ормузд и Ариман, между которыми перемирие немислимо.

Характер двойника — первый созданный Достоевским характер. За первым опытом последовал ряд новых, в которых данный характер разворачивался все глубже и шире. Двойник — излюбленный

тип Достоевского, над которым он работал всю жизнь, тип, который является главным действующим лицом почти во всех его произведениях и без которого не обошлось ни одно из них. Второе произведение Достоевского носит даже типичное заглавие: «Двойник». Девушкин хлопочет лишь о том, чтобы не скатиться на дно, чтоб удержаться на старой позиции приличной бедности. Он был бы вполне доволен скромным, но независимым положением, при котором его самолюбие не подвергалось бы оскорблению. Его идеал — это идеал мирного, спокойного мещанского существования. Среди сутолоки городской жизни, в которой царит принцип — молот или наковальня, он хотел бы сохранить нейтральное положение ни молота, ни наковальни. Герой второго произведения Достоевского господин Голядкин, родной брат Девушкина и по социальному положению, и по общему складу чувствований и настроений, отличается от него тем, что, хотя и смутно, но он чувствует невозможность удержать старые позиции. Он робко и нелепо, но ведет борьбу за захват новых позиций. Он не просто обороняется, но пробует перейти в наступление. Он не прочь бы стать «молотом». Девушкин борется только за честь; Голядкин почти бессознательно, инстинктивно борется за власть. Первый боится упасть на дно, второй карабкается вверх; первый боится быть обиженным, второй не прочь обидеть. Девушкину для поддержки чести и доброго имени достаточно сапогов без дыр; Голядкин разъезжает в наемной карете с Петрушкой на запятках, для которого он озаботился даже ливрею припасти. В разговоре с доктором Рутеншицем он старается дать понять, «что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет у себя дома и что у него, наконец, есть Петрушка». В его окриках на Петрушку чувствуется неуверенная попытка показать власть. Но именно потому, что у Голядкина самолюбие развилось в более резкую форму властолюбия, в нем раздвоение личности становится еще более глубоким. Чем с большей высоты падаешь, тем больней ушибаешься. Когда Девушкин падает в борьбе за честь, он не так чувствует свое унижение, как Голядкин, падающий в борьбе за власть. Стремясь стать властным человеком, Голядкин чувствует в себе присутствие другого человека, робкого, трусливого, забитого. «Если бы кто захотел обратить в ветошку Голядкина, — рассказывает автор, — то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (Голядкин сам иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, так подлая, грязная вышла бы ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка-то эта была бы с амбицией, но ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и безответными чувствами». Внутри Девушкина дух самолюбия борется с духом смирения, в существе Голядкина инстинкт власти, господства

борется с инстинктом покорности, господин борется с рабом. Одна нога его стоит на ступеньке той лестницы, которая ведет на дно, в мир нищеты, унижения, в царство униженных и оскорбленных; другая — на ступеньке лестницы, ведущей в царство ливрей и карет, в царство господ. Голядкин такой же двойник, как Девушкин, только две души, живущие в нем, находятся в еще более непримиримом противоречии. Вот почему Голядкин острее чувствует свое унижение, сильнее реагирует на него. Когда Девушкин начинает понимать, что его самолюбие беспочвенно, что в действительности он забит и унижен, он предается самоунижению: Девушкин теряет уважение к себе, самолюбивый и гордый Девушкин не может уважать униженного и смиренного Девушкина. Когда Голядкин чувствует, что он вовсе не властный человек, а «подлая, грязная ветошка», он предается самомучительству, находя в этом злобное, болезненное наслаждение: «Растравливать свои раны было каким-то глубоким наслаждением для Голядкина, даже чуть ли не сладострастием». Голядкин гордый, Голядкин, жаждущий власти, издевается над Голядкиным ветошкой, Голядкиным рабом. Одновременно молот и наковальня, он наносит себе удары, испытывая наслаждение оттого, что он молот, хоть и своими боками, и страдая оттого, что он наковальня. Есть еще одна черта в характере Голядкина, свидетельствующая о более глубоком раздвоении его личности, чем у Девушкина. Это человек, у которого душевная дисгармония достигла такой ступени развития, когда — еще шаг, и она станет безумием. Нервы Голядкина взвинчены до последней крайности: он мечется, как угорелый, беспричинно торопится, говорит сам с собой, раздражается неожиданными истерическими слезами. Нервная раздражительность повышена до такой степени, что он галлюцинирует. Для него раздвоенность его существа становится предметом мучительной галлюцинации. Для его расстроенного мозга одна из половин его собственной души начинает вести самостоятельное, независимое существование, воплотившись в образ «Голядкина второго», которого он видит как реальную личность, с которой ведет разговоры. Это та половина его души, в которой заключены его смутные порывы выбиться вверх, подняться в мир господ, сделать карьеру. Его галлюцинация — Голядкин второй, горький чиновник, ни перед чем не останавливающийся, лишь бы сделать карьеру. Подставляя на каждом шагу ножку ему, Голядкину первому, он быстро влезает в милость у его превосходительства и становится чиновником особых поручений к великой досаде и злости Голядкина первого. Галлюцинация приводит Голядкина в бешенство именно потому, что она есть резкое выражение его бессилия, его неспособности угнаться за своей гордой мечтой. Мечта живет своей, отдельной от его существования жизнью, ему недоступной. Каждый

успех Голядкина второго болезненно подчеркивает его собственное бессилие и унижение. Мучительная и бесплодная борьба падающего мещанина за честь с нищетой и унижением в расстроенной психике Голядкина преломляется в мучительную борьбу с галлюцинацией, с болезненным порождением его расстроенного вечными неудачами мозга. Мы застаем его на границе безумия, и кончает он безумием.

Бесплодная борьба с бедностью, бессильная борьба за честь, жажда силы при полном реальном бессилии, жажда власти при действительной безответности — вот существенные черты в характере двойников Достоевского. Они хотят того, чем не могут стать; в этом трагизм их положения, здесь источник раздвоения их личности. Они сами чувствуют, что то, чего они желают, для них не осуществимо, но они не могут перестать желать. Так чувствует себя неизлечимо больной: и знает он, что уж не встать ему с постели, но отказаться от желания подняться вновь с одра он не может. При ясном сознании приближающегося конца он старается хоть на время забыться и помечтать о радостях жизни. Забудется, замечтается и кажется ему, что снова он живет полной широкой жизнью, пока внезапный припадок боли не напомнит ему о действительности. В нем тоже борются две души: то бодрая, здоровая, живая, то убитая болью, чувствующая близость конца. Ненавистная реальность борется здесь с неосуществимой мечтой. Между ненавистной реальностью и неосуществимой мечтой и мечется беспомощно душа двойника. Он самолюбив, горд, даже властен в мечтах и счастлив, как мечтатель; он жалок, смирен, беспомощен в действительности и несчастен, как реальное существо. И подобно тому как смертельно больной по мере приближения конца все острее хочет жить, с большим упорством отдается мечтам и с большей болью вспоминает действительность, так точно двойник мещанин, чем безнадежней его реальное существование, тем беззаветней отдается своим мечтаниям, чем более унижен и бессильен в действительности, тем более самолюбив и горд в мечтах своих. Он хотел бы совсем забыть о реальном существовании, он хотел бы, чтоб созданное в его фантазии было реальным. Вот где источник той до болезненности развитой фантазии и мечтательности, которую мы находим у двойников Достоевского. <...>

VII

«Угрюм, мрачен, надменен и горд; в последнее время мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и скорее жестокость сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до бес-

человечия, право, точно в нем *два противоположные характера поочередно сменяются*». Вот аттестация, которую дает Разумихин своему приятелю Родиону Романовичу Раскольникову, аттестация меткая, схватывающая самую существенную, специфическую особенность этого характера, двойственность его душевного содержания, глубокое противоречие его натуры. Раскольников несомненный и типичный двойник. Весь склад его чувствований, настроений, забот и волнений сближает его со всей семьей двойников. Гнетущая бедность, унижение бедности, болезненное самолюбие, переходящее в жажду власти и мучительства, мнительность и острое чувство бессилия — все это знакомо Раскольникову, как и Девушкину, Голядкину или Опискину. Но подобно подпольному человеку он отличается от них высоким развитием интеллекта, он двойник мыслящий. Вместо бедных чиновников и приживальщиков перед нами «задавленный бедностью» студент, работяга и способный, внушающий уважение своим товарищам по университету. «Раскольников в университете, — сообщает автор, — не имел товарищей, всех чуждался... Занимался усиленно, не жалея себя, и за это все его уважали, но никто не любил». Вместо Макара Девушкина, с благоговением слушающего «Ермака и Зюлейку», перед нами молодой юрист, с развитым и сильным умом, уже успевший обратить на себя внимание оригинальной статьей.

Общее направление этого ума уже заранее predetermined той обстановкой, той средой, которая еще до начала сознательной жизни выработала в нем определенный тон чувствований, чисто инстинктивных стремлений и порывов, всего того, что мы называем натурой, которая ко времени начала сознательной жизни уже создала, следовательно, определенный *субъективный* материал для мысли, а с наступлением этой сознательной жизни продолжает непосредственно воздействовать на ум, доставляя ему ближайший объективный материал. Внутреннее противоречие гордости и смирения — вот субъективный материал мысли Раскольникова; мир гибнущего на дне города мещанства, мир Мармеладовых — ее объективный материал. Он должен решить и действительно занят решением вечного вопроса двойников: быть ли ему на дне или на верху, наковальной или молотом? «Вошь ли я или человек, тварь ли я дрожащая или право имею?» — спрашивает Раскольников. Вспомним, что Девушкин мучится вопросом — человек ли он или подошва, что Голядкина терзает вопрос — человек он или ветошка, что подпольный человек носится с дилеммой — герой или грязь, и для нас станет вполне ясно, что со всей этой семьей двойников Раскольникова связывают тесные узы родства, что он кость от кости и плоть от плоти их.

Но подобно тому как склад характера индивидуализируется в зависимости от преобладания той или иной черты и общее направление ума

тоже индивидуализируется в зависимости от сосредоточения его на том или ином частном вопросе. Общий склад характера не мешает герою «Белых ночей» быть своеобразным и индивидуальным благодаря преобладанию в нем мечтательности. Точно так же Раскольников, будучи близок по натуре всем двойникам, а в частности и в особенности близок к подпольному человеку, с которым его роднит сверх прочего развитость интеллекта, является своеобразной личностью. Раскольников — мыслящий двойник, двойник аналитик, как и подпольный человек, но его мысль выдвигает на первый план то, что едва занимало этого последнего. Все внимание подпольного человека сосредоточено на анализе внутренних, душевных процессов. На противоречиях своей природы он строит, как на фундаменте, оригинальную философию душевной жизни. Раскольников не психолог, а юрист, его занимают не столько психические процессы, сколько общественно-правовые отношения.

Подпольный человек рассматривает душевную жизнь как трагическую коллизию сознания и воли и беспомощно бьется над разрешением этой коллизии, то провозглашая примат воли, то признаваясь в любви к сознанию. Раскольников, смотря на жизнь сквозь те же очки, что и герой подполья, рассматривая общественную жизнь под углом личной раздвоенности, представляет ее себе как трагическое столкновение своеволия и смирения, беспредельной власти и столь же беспредельной покорности, и тоже беспомощно бьется над решением этого социального противоречия, то принимая принцип своеволия, то благоговейно и даже страстно преклоняя колена перед покорностью и смирением. Гармония человеческих волей, общественные отношения солидарности и согласия совершенно непонятны ему, как оставалась непонятной и недоступной для подпольного героя гармоническая душа, душа, в которой и ум и воля взаимно согласованы, взаимно дополняют друг друга. Нет этой гармонии ни в субъективных, ни в объективных элементах его мысли, ни в его натуре, ни в окружающей его среде. Чтобы понять солидарность, Раскольников должен был бы не быть двойником, а чтоб не быть двойником, он должен бы был родиться в иной среде.

Стоя перед лицом общественной жизни, мещанин-двойник по своему социальному положению между верхом и дном только и в состоянии представить ее себе как противоречивое соединение людей верха и дна, людей высшей и низшей породы, людей своевольных, которым все позволено, и людей смиренных, не имеющих совсем своей воли. Именно таким образом и представляет себе общество Раскольников. «Все люди по закону природы, — говорит он, — разделяются вообще на два разряда: на низший, то есть, так сказать, на материал, служащий собственно

для зарождения себе подобных, и собственно на людей, т.е. имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово... Первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными... Второй разряд все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям». Заметьте себе, что этот противоречивый склад общества возводится Раскольниковым в закон природы. Все люди *по закону природы* разделяются на два разряда — говорит он. «Ясно только одно, — еще раз возвращается он к той же мысли, — что порядок зарождения людей всех этих разрядов, должно быть, весьма верно и точно определен каким-нибудь законом природы». Подобно тому как подпольный человек провозглашает законом природы противоречие воли и разума, Раскольников объявляет законом природы разделение общества на две противоположных породы. Между этими породами кипит война. Порода своевольных людей, смелых и сильных, одаренных упрямой энергией, не останавливается ни перед чем для удовлетворения своих желаний, не считается ни с какими законами, кроме своего хотения. Это — «непосредственный человек» подпольного философа. «Если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, и через кровь, то он по совести может дать себе разрешение перешагнуть через кровь», — говорит Раскольников о человеке высшей породы. Люди смиренные, те, которых подпольный философ называет «благоразумными», стремятся сдерживать своевольные выходки своевольных людей. Они не признают за последними права на своеволие, казнят их и вешают. Но будущее принадлежит своевольным. «Масса почти никогда не признает за ними этого права, казните их и вешаете и тем исполняете консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал». Так в глазах двойника само общество становится как бы гигантским, многоголовым двойником. Внутренняя борьба больной, уязвленной гордости с больным смирением, иррациональной воли с пассивным благоразумием становится основным социальным противоречием, борьбой гордых со смиренными, своевольных с пассивными.

Если противоречивое строение общества определено законом природы, то стремление к разрешению его в гармонии и всеобщем счастье должно казаться смешной и нелепой утопией, и Раскольников не только сам не пытается внести в общественные отношения согласия, разрешения мучительной внутренней разладицы, но относится скептически-пренебрежительно, даже озлобленно ко всякому, кто делает подобные попытки. Общественное счастье для него пустой звук: нужно занять место или среди людей смиренных, или среди своевольных и, конечно, лучше последнее, лучше жить по своей воле.

«За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил, — размышляет Раскольников; — трудолюбивый народ и торговый, общим счастьем занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет; я не хочу дожидаться всеобщего счастья. Я сам хочу жить, а то лучше уж и не жить». Мысль Раскольникова не столько ищет выхода из общественного противоречия, сколько занята вопросом: кто же он сам по своей природе, «человек» или «материал», гордый или смиренный? Это и понятно, если принять за аксиому, что по закону природы люди бывают только двух пород. Раз закон природы — тут уж ничего не поделаешь и остается только определить, что такое я сам по закону природы? В целях этого определения Раскольников и предпринимает свой дикий эксперимент со старухой-процентщицей. «Не деньги нужны мне были, Соня, когда я убил... Мне другое было нужно, другое толкало под руку. Мне надо было узнать тогда, и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Тварь ли я дрожащая или право имею»? Фома Опискин инстинктивно мучил людей, не веруя в свою силу и желая увериться, что его никто не посмеет обидеть, что он сам всякого обидит. Раскольников ушел далеко вперед: он предпринимает убийство, чтоб убедиться в том, что он из тех, которые всё могут, предпринимает не в силу смутных импульсов природы, а в силу выработанного принципа, положенного им в основу всей общественной жизни, права и морали. «Я не старушку убил, — говорит он, — я принцип убил».

Представить себе какой-нибудь иной выход, кроме торжества не знающей удержу воли или робкой, забитой покорности, Раскольников решительно не в силах. Или безмерное смирение и робость Сони Мармеладовой, терпеливо и безропотно несущей свой крест высочайшего унижения, какому только может подвергнуться женщина, или дикий разгул личности, для которой всякая мораль и всякий закон трын-трава; Раскольникову ужасно хочется ступить на второй путь, который ему кажется единственно достойным человека. Не даром же он все время величает своевольных людей героями, людьми необыкновенными. На вопрос Сони — что же делать? он отвечает: «Что делать? Сломить что надо, раз навсегда, и страдание взять на себя... Свободу и власть, а главное, власти! Над всей дрожащей тварью и всем муравейником! Вот цель!» Но опыт показывает ему, что сам он неспособен ничего сломить и ни над чем неспособен взять власть. Нелепое проявление воли в форме убийства старухи-процентщицы, как и надо было ожидать, привело к нелепому концу. «Я себя убил, а не старушонку», — признается он. Мало того, Раскольников вовсе не уверен в том, что путь власти — лучший путь. Momentами он доходит до ненависти к нему в лице Свидригайлова и питает какую-то экстатическую нежность

к пути Сони Мармеладовой, к пути смирения и страдания: «Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча, не взглядывая на нее. Наконец, подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали. Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу... — “Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился”, — как-то дико произнес он и отошел к окну». Да и вообще Раскольников плохо верит в свои построения и болезненно мечется между противоречиями. «Окончательным своим решением, — говорит автор, — он продолжал всего менее верить». Да и трудно поверить в такую концепцию, которая объявляет законом природы вечное социальное противоречие, которая знает лишь два пути: через кровь и мучительство к власти или через смирение к страданию и самоумерщвлению. Каждый из этих путей внушает Раскольникову смешанное чувство любви и ненависти. Подобно тому как герой подполья одновременно любит и ненавидит и волю, и сознание и, чувствуя их непримиримость в себе, не хочет в то же время расстаться ни с тем, ни с другим, так Раскольников одновременно любит и ненавидит оба пути и никак не может сделать выбор между ними. Сейчас же после страстного прославления «свободы и власти над всей дрожащей тварью» он готов признать и почти признает дурным этот путь: «И что тебе в том, — воскликнул он чрез мгновение с каким-то даже отчаянием, — ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал». И сейчас же после смиренного преклонения колен перед «всем страданием человеческим» в образе Сони он «прибавил восторженно: а что ты — великая грешница, то это так. А пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя... Да скажи же ты, наконец, — проговорил он в исступлении, — как этакий позор и низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются». Ни на ту, ни на другую дорогу, ни на дорогу «переступания через кровь», ни на путь «предания себя» Раскольникову не удастся ступить твердой ногой. И, как подпольный человек, он в конце концов признается в том, что бессилён решить социальную проблему, что он подозревает возможность какого-то иного пути, которого он не знает и не видит, но в который верит гораздо больше, чем в свой «закон природы». «Vive la guerre éternelle² — до нового Иерусалима, разумеется», — заканчивает он изложение своих социально-правовых взглядов перед Порфирием. «Так вы все-таки веруете же в Новый Иерусалим, — переспрашивает последний. — Верую, — твердо ответил Раскольников».

Как грозный сфинкс древнего мира, общество задает Раскольникову загадку под угрозой гибели в случае неуспеха. Раскольников не родился быть Эдипом, он не решил загадки Сфинкса и погиб. Это логическое

бессилие явилось неизбежным следствием бессилия фактического. У мещанина есть только три ответа на социальную задачу, только три ответа доступны ему по его социальному положению, и ни один из них не приемлем в конце концов для него самого. Путь труда, не знающего усталости, путь изведанный, путь, практическая никчемность которого ясна была уже Девушкину, тоскливо допрашивавшему: отчего счастье Иванушке-Дурачку достается? — практическую никчемность которого Раскольников ясно наблюдает на судьбе своей семьи, на судьбе Мармеладовых, практическую никчемность которого он сознает и высказывает в самых решительных выражениях. На совет Настасьи уроков приискать он отвечает: «За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — А тебе бы сразу весь капитал, — возражает Настасья. — Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав». Труд Раскольников не боится; он, как Девушкин, «не неженка», и мы уже видели, что за работоспособность он заслужил особенное уважение товарищей по университету. Но раз почувствовав и поняв бесплодность этого пути, почувствовав и поняв, что не трудом определяется в окружающем его обществе степень достатка, влияния, уважения, он резко отказывается от работы. «Я мог бы работать, — говорит он Соне, — да и озлился и не захотел». Второй путь — путь наверх к «ликующим, праздноболтающим, обгаряющим руки в крови», путь, на который жадно стремятся вступить и Голядкин, и Опискин, и подпольный человек, к которому лежит душа Раскольникова, но который он в то же время ненавидит, чувствуя и понимая, что стать на этот путь не в его власти, что какие-то непонятные силы не пускают его на эту дорогу. Что не добродетель и не труд ведут по этой дороге — Раскольникову ясно, как день; но что же ведет по ней? *По закону природы* люди рождаются смелые или робкие, и только первые осмеливаются взять власть и господство; и Раскольникова приводит в бешенство то, что этот закон природы его-то именно и обделил. «Да я, действительно, вошь, — продолжал он, с злорадством прицепляясь к мысли». Наконец, остается еще один путь — путь бедности, быть может, нищеты, и терпения, путь единственно осуществимый практически, но ненавистный потому, что с ним связано унижение, грех самоумерщвления и предания себя, по мнению Раскольникова. Этот путь двойник тоже любит и ненавидит; любит потому, что все же это выход из мучительной агонии, ненавидит потому, что этот выход — смерть. Послушайте горячую исповедь Раскольникова перед Соней, исповедь, в которой он пытается рассказать, как дошел он до своих выводов: «Я сказал тебе давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я может и мог? Мать прислала бы, чтобы внести что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал, наверно! Уроки

выходили; по полтиннику предлагали. Да я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово хорошее). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья — поем, не принесет — так и день пройдет; нарочно со зла не спрашиваю! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться — я книги распродал; а на столе у меня на записках, да на тетрадях на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал... Я тогда всё себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и если я знаю уж наверное, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит терять! Да, это так! Это их закон... Закон, Соня! Это так! И я теперь знаю, Соня, что, кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посмеять, тот у них и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!» Вот те этапы, через которые шла мысль Раскольниковова. В этой исповеди слышится и острое чувство обиды, и ясное сознание бесплодности труда, и чувство бессилия перед развивающимся потоком общественной жизни, перед суровым законом, определяющим одних к господству, других к унижению. «Так доселе велось и так всегда будет» — таков грустный, рвущий сердце, заключительный аккорд этой исповеди-полубреда. В такой атмосфере развивалась мысль Раскольниковова. Его социальные взгляды родились в тесной конуре городского угла, под низкими потолками, теснящими душу и ум.

ХІІІ

Хотя своеволие всегда сопровождается падением на дно, однако падение на дно вовсе не всегда сопровождается своеволием. Нередко вместо безудержного индивидуализма, вместо волчьей свирепости падение на дно выражается психически тихой, безответной покорностью ягненка, ведомого на закланье. Раздавленный грозной стихией общественного развития человек и не помышляет о сопротивлении: он опускает руки, смиренно никнет головой с полным сознанием бессилия. Это «слабые сердца», это «кроткие» Достоевского, длинная вереница образов, от которых веет грустью как от кладбищенских

крестов. Мягкие, робкие лица, худенькие и болезненные, молитвенно сложенные руки и страдание, бесконечное страдание за себя и за других. С их уст не слетает гневное проклятие, в их «слабых сердцах» нет места иным чувствам, кроме благодарности и смирения. Они никого не обвиняют, несут свое страдание как заслуженную кару, целуют язвы и раны на своем теле. Искренно считая себя последними из последних, они без ропота принимают всякое заушение и, получивши удар в правую ланиту, спешат подставить левую. Не бежать от страдания, а искать его надо: человек не всегда знает, что он виноват, но он всегда виноват, а страдание есть искупление. Протест против страдания им кажется грехом. В страдании есть великая очищающая душу сила; в нем человек находит душевный мир, ясность, спокойствие. Ужас страдания не в самом страдании, а в отрицании его законности: стоит принят страдание законным, и душа наполнится неизреченным счастьем. И эти люди страдают, страдают вольно и невольно, за себя и за других, за жертв и за палачей, страдают с покорностью, терпением, даже с умилением и экстазом, с чисто религиозной верой в спасительную силу страдания.

Эта религия страдания берет начало в том же источнике, из которого вытекает религия своеволия. Нищета, социально-экономическая смерть — вот этот источник; нищета голодная, абсолютная, та, которую Мармеладов характеризует в трех словах: «дальше идти некуда». В условиях такой нищеты можно жить только или своеволием, безграничным презрением к чужой личности и чужому страданию, или кротостью, христарадничьем, презрением к своей личности и своему страданию. Своеволие и самоотречение, преступление и подвижничество «и сеют вместе и вместе растут». Нищета или вызывает страстную жажду расширить бюджет личной жизни, или, наоборот, порождает желание сузить, сократить бюджет личной жизни до последней крайности. В первом случае человек хочет взять то, что ему необходимо для удовлетворения своих потребностей, не считаясь ни с правом, ни с моралью, руководясь лишь естественной жаждой жить и дышать во все легкие. Во втором случае он хочет задавить в себе возможно больше потребностей, чтобы не нуждаться в средствах к их удовлетворению. Первые ищут спасения от гнета нищеты, стремясь достать средства, необходимые для удовлетворения всех желаний; вторые ищут спасения от этого гнета в отсутствии самих желаний: из первых вырабатываются преступники, из вторых — юродивые; идеал первых — своеволие, идеал вторых — подвижничество. Это опять-таки те два пути, между которым бьется мещане-двойники. Падение на дно не открывает новых дорог и перспектив: это падение лишь кладет конец колебаниям и нерешительности, оно требует, чтобы человек

выбрал себе определенный путь. Две души, некогда боровшиеся в груди «двойника», отделяются одна от другой, индивидуализируются, организуются в самостоятельные единицы, в самостоятельные характеры. Но они не перестают жить и развиваться рядом. Только теперь они живут не в индивидуальной груди мещанина-упадочника, а в коллективной груди социального дна. Индивидуальная связь своеволия и смирения расторглась, личность не бросается от мучительства к самобичеванию, а твердо и решительно или своевольничает, или смиряется. Нет больше «двойников»: есть «своевольные» и «слабые сердца», есть преступники и юродивые. Но оба эти характера всегда существуют рядом: где есть «своевольный», там неизбежно есть и «слабый сердцем», где есть преступник, там есть и юродивый. Социальное дно можно представить себе коллективным, многоликим двойником: ошую — стальные, сверкающие холодным презрением ко всему миру лики «своевольных», одесную — восковые, испытанные страданием и самобичеванием лики юродивых. Отводя место одним ошую и другим одесную, я не даю субъективной оценки этих характеров; в данный момент моя задача — анализ, а не оценка. В произведениях Достоевского одесную стоят «кроткие», а «своевольные» — ошую: я оставляю их на тех местах, где поставил автор. С характерами «своевольных» мы уже познакомились; нам осталось теперь ближе взглянуть в душу «кротких», подвергнуть анализу «слабые сердца».

<...>

Полнее всего и с наибольшей яркостью свойства этой природы воплощены Достоевским в одном из лучших по художественной отделке женских образов — Соне Мармеладовой. Соня — дочь бывшего чиновника Мармеладова, давно уж лишившегося всякого заработка, вступившего в ту фазу нищеты, когда «дальше идти некуда». Воспитания она не получила, да и не могла получить: некому и не на что было ее учить. Так и осталась она ни к чему не готовой, безоружной в борьбе за жизнь, обреченной с самого рождения на судьбу «бывшего человека». Нищету, настоящий со всем его ужасом голод, безобразные сцены унижения и издевательства — вот что видела она с детства. Жизнь с колыбели принялась колотить ее своим обухом, пришибла и запугала ее. Самое лицо ее носит на себе следы этой работы обуха нищеты и унижения: «у нее было худое, бледное и испуганное личико», — сообщает автор. С возрастом жизнь колотила ее все больней и больней: начались раздражительные попреки, явилось то мучительное чувство, которое связывается обыкновенно с сознанием, что ты — бремя, что ты бессилен помочь и в то же время обязан помочь, по крайней мере не жить в тягость. В одну из таких минут Соня пошла на улицу: дно приняло жертву в свои грязные недра.

Нищета, необходимость жить милостыней не унижают так глубоко человека, как проституция. Это последняя степень позора. Милостыня унижает и обезличивает человека, заставляя его вполне ясно понять свое бессилие, свою немощь, свою полную зависимость от ласки или недовольства всякого встречного. Но в милостыне есть только унижение и нет вечного оплевывания и обгаживания: в милостыне есть часто сожаление, сострадание, тогда как в проституции женщина находит голое издевательство, презрение, оплевывание, закидывание грязью изо дня в день, которые необходимо принимать как милостыню, добровольно, с улыбкой и благодарностью. Если живущий подаванием знает, что вся его жизнь в милости встречного, то живущая проституцией знает, что ее жизнь в плевке встречного: захочет он загрязнить и оплевать ее — она будет жить, не захочет — умирай с голоду. К чувству беспомощности, сознания своей зависимости от «благодетелей», здесь присоединяется чувство собственной загрязненности и загаженности.

Вот в такой-то обстановке складывался и развивался характер Сони Мармеладовой. Вполне понятно, что в нем должны преобладать минорные, так сказать, слезоточивые качества. Из нее выработалась болезненная, истеричная девушка, беспомощная, как ребенок, неспособная постоять за себя, умеющая только молить и плакать. Ни к какому активному, деятельному участию в жизни она неспособна. Борьбаться с жизнью, деятельно изменять ее сообразно с своими целями может только тот, кто играет в обществе трудовую роль, кто принимает живое участие в процессе общественного производства. Такие люди самым своим социальным положением призваны к творческой роли: они созданы для того, чтобы строить, действительно вмешиваться в жизнь; они не могут не творить, не строить, точно так же, как птица не может не летать, а рыба не может не плавать. «Бывшие люди», вроде Емели или Сони, никакой производительной функции в обществе не несут: они оторваны от труда, лишены «права на труд». Вынужденное бездействие, невозможность трудиться уродует личность, так изменяя ее физиологически и психически, что она совершенно утрачивает активные способности. Здесь происходит то самое, что происходит, например, с птицами, у которых крылья долго остаются без употребления: крылья атрофируются и птицы теряют свою способность к полету. Вот так бывает и с «бывшими людьми»: стихийная сила отрывает их от трудового процесса, а с течением времени ими утрачивается и самое умение действовать, трудиться. Здесь лежит источник пассивности «кротких», здесь источник пассивности емелей и мармеладовых. На основе этой оторванности от труда и развилась пассивность Сони. Перед лицом жизни она стоит как трость, ветром колеблемая. Ни бежать, ни обороняться, ни тем более наступать она со-

всем неспособна. Она умеет только принимать со смирением то, что посылает судьба: задумает судьба раздавить ее, она станет на колени и сама голову под колесо сунет, с плачем, а сунет, даже убежать не попробует; щедротами задумает ее осыпать, она тоже на колени станет и руки станет ловить, чтоб осыпать их поцелуями благодарности. Соня ничем сама себе не обязана; счастье и несчастье на нее обрушиваются, а не добываются ею: не случись Лебезятникова — Лужин ее погубил бы; подвернулся Свидригайлов и осчастливил ее. Около этой пассивности, как около центра, могут быть сгруппированы все существенные черты характера Сони. Чувство собственного бессилия и чувство безусловной зависимости от случая, неожиданного стечения обстоятельств — вот что рождается на основе пассивности. Кто чувствует себя бессильным, тот склонен всякому уступать, всем и всему покоряться. Это и есть та кротость, которою отличаются все «слабые сердца», которая составляет также одну из существеннейших черт в характере Сони. Из бессилия вытекает и смирение: чувствовать себя бессильным, перед всеми пасовать и всякому покоряться, значит неизбежно прийти к самоунижению, к убеждению в личной дряблости и ничтожестве. У Сони это сознание принимает особенно резкие формы, потому что положение проститутки, как я говорил уже, не только заставляет ее терпеть оскорбления, но ежедневно искать себе плевков. Соня вся проникнута мыслью, что она «бесчестная», так низко стоит в собственных глазах, что положительно приходит в ужас, когда узнает от Раскольникова, как он в глаза сказал Лужину, что считает за честь для своей сестры знакомство с ней, Соней: «Сидеть со мной честь, — восклицает она, — да ведь я бесчестная! Ах, что вы это сказали!» Рядом с кротостью и смирением, в неразрывной связи с ними, развивается своеобразный мистицизм с резко выраженной фаталистической и в то же время оптимистической окраской. В этом мистицизме отразился факт полной неспособности Сони своими силами и по своему разуму строить жизнь, факт социальной зависимости от благодетелей и от негодяев, от милостивцев и обидчиков. Соня не хозяйин своей жизни; ничего она не предвидит, никаких расчетов наперед не делает: вся ее жизнь складывается из счастливых и несчастных случайностей. Без ее воли и ведома, нежданно-негаданно, приходят к ней и горе, и радость. Соня чувствует, что вся ее жизнь зависит от кого-то таинственного и всемогущего, вмешивающегося в ее жизнь со своими планами и намерениями, ей неизвестными. Она не знает, что это за сила, властно вмешивающаяся в ее жизнь; но она хорошо знает, что сама-то она ни при чем в устройстве своей жизни, что ей можно только принимать то, что послано «свыше». Для Сони эта сила представляется промыслом, в котором она ничего не понимает,

но от которого необходимо смиренно принимать все, что он посылает. Нельзя судить промысел, ничего в нем не понимая; ее изумляет дерзость Раскольникова, который предлагает ей заняться таким судом: «да ведь я Божьего промысла знать не могу. И кто меня тут судьей поставил, кому жить и кому не жить», — возражает она ему. Почему промысел посылает ей страдания, она не знает; но она ясно сознает одно, что личных сил для того, чтоб творить свою жизнь, у нее нет, что она не зарабатывает свою жизнь, а живет, так сказать, из милости.

Но вера Сони в промысел не только констатирует факт ее зависимости и беспомощности: эта вера необходима ей, чтоб жить в ужасной атмосфере позора и нищеты. Среди мрака страдания эта вера зажигает в ее сердце огонек надежды: неведомо для нее посланы ей страдания, но ведь так же неведомо для нее, быть может, уже сейчас готовится ей милость и счастье; быть может, завтра из последних она станет первой, уйдет от грязи и голода в мир света и радости. Конечно, это будет чудом; но для Сони вся жизнь полна случайностей и чудес; она глубоко верит в чудо. Припомните, с каким страстным восторгом читает она Раскольникову евангельское повествование о воскрешении Лазаря: «Раскольников обернулся к ней и с волнением посмотрел на нее. Да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной настоящей лихорадке. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его». Эта вера в чудо, вера в промысел, скрашивает ей жизнь: «Что же бы я без Бога-то была?» — быстро и энергически шепчет она Раскольникову. Да, без Бога Соне невозможно оставаться: только эта вера и дает ей силу жить, только в ней и находит она примирение с жизнью. Правда, в ее вере есть много объективно отрицательного: рожденная нищетой, забитостью и бессилием, она оправдывает нищету, забитость и бессилие; она отрицает борьбу со скудостью жизни и приглашает фаталистически сложить руки и ждать чуда. Но когда нет выхода, счастлив тот, кто смог примириться. Соня не знает выхода из своего положения, и для нее ее вера не только объективно необходима, но и субъективно желательна.

В изображении «слабых сердцем», как и в изображении «двойников» и «своевольных», дело не обошлось без переодевания. В герое повести «Село Степанчиково и его обитатели» мы имеем тип «слабого сердцем» обряженного в костюм помещика: я говорю об Егоре Ильиче Ростаневе. Это опять-таки пальма в снегу. Я не буду долго останавливаться на этом образе: психологически он не представляет новых черт сравнительно с теми кроткими образами, которые мы рассматривали выше. Ограничусь беглыми замечаниями. Ничего специфически по-

мещичьего, кроме чисто внешних форм, Ростанев не заключает в себе. Он терпелив, как осел, кроток, как теленок, слаб и бесхарактерен, как ребенок, уступчив донельзя, склонен к самобичеванию и самоунижению: «Есть натуры ко всему привыкающие; такова именно была натура отставного полковника»... «Трудно было представить человека смиреннее и на все согласнее! Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он, может быть, и доведет»... «Он тотчас же всем уступал и всему подчинялся». Вот как на каждом шагу аттестует его автор. И в течение рассказа Ростанев только и знает, что терпит, смиряется, возит на плечах да придается самобичеванию за неведомые ему самому преступления да всяческому самоунижению. «Оно конечно, я виноват; я, брат, не знаю еще, в чем виноват, но уж, конечно, я виноват»... «Я ведь глуп — сам чувствую, что глуп». Все это знакомые черты «кротких» и «слабых сердцем». Если вы хотите представить себе, до какой степени не пристал полковничий мундир и помещичье положение Ростаневу, сравните его с Николаем Ростовым из «Войны и мира» Толстого. Сравнение любопытно потому, что положение того и другого почти тождественно: оба небогатые помещики, оба служили в гусарах, оба, по выходе в отставку, мирно устроились в своих усадьбах, оба недалекие, но простодушные, честные и преданные долгу люди. Но какая огромная разница душевных организаций! Вместо терпенья, — грубая армейская вспыльчивость; вместо кротости, — так называемая «тяжелая рука»; вместо смирения — помещичья властность. Ни единой общей черты. Если здесь не было переодевания у Достоевского, то, значит, произошло замысловатое явление, вроде того, о котором поется в народной песне: курочка свинью родила, поросенок яичко снес.

Подведем итог этой главе. Приспособление к условиям нищеты и лишений путем сокращения потребностей и урезывания личной жизни порождает кроткие, «слабые сердцем» натуры. Характер этот разворачивается вполне в условиях жизни социального дна, где нищета доведена до высшей точки, и приспособляющийся вынуждается урезать свою жизнь до полной обезличенности. Основные моменты, определяющие кроткий характер, это: оторванность от производственной жизни общества, невозможность и неспособность жить трудом, с одной стороны, и, с другой — существование милостыней и снисхождением благодетелей. Отсюда пассивность «кротких», чувство беспомощности и безусловной зависимости. Они не могут действовать, а могут просить; орудье их жизни не труд, а мольба. Вот почему они перед всеми смиряются, считают себя хуже и ниже всех; вот почему они с одинаковой кротостью и благодарностью принимают и милость, и гнев, и ласку, и обиду. Просить и терпеливо ждать милости или жестокости — та-

ково призвание этих натур. Вся их жизнь складывается из случайных милостыней и жестокостей, ни причин, ни смысла которых они не понимают, в производстве которых они не играют никакой действенной роли. Отсюда мистицизм этих натур, вера в силу, управляющую жизнью по неведомым целям и планам, перед которой фаталистически складывают руки и молитвенно склоняют колена. Нищета, смирение, молитва — вот в трех словах вся жизнь «кротких» и «слабых сердцем».

XVIII

<...>

«Истинный Достоевский, тот бесстрашный испытатель божеских и сатанинских глубин, каким мы его знаем, начался с “Преступления и наказания”. Все, что раньше создавал он, “Бедные люди”, “Униженные и оскорбленные”, принадлежит как бы совсем другому писателю. Если бы все это исчезло, образ его как художника, в особенности как мыслителя ничуть не пострадал бы, скорее, напротив, очистился бы от случайного и наносного». Приведенный отрывок принадлежит Мережковскому. Таким образом, он повторяет ошибку Михайловского, разрывая деятельность Достоевского на два существенно различных периода. Мало того, что он повторяет ошибку: он делает ее более глубокой и серьезной, потому что гораздо резче утверждает разрыв, скачок в творчестве Достоевского; Михайловский говорил только о перемещении центра тяжести от овцы к волку, а Мережковский заявляет, что все написанное до «Преступления и наказания» «наносно и случайно», что «истинный Достоевский начался с этого романа». Это положение Мережковского я считаю капитальной ошибкой его исследования, приведшей его к одностороннему пониманию психологии героев Достоевского и в конце концов к совершенно ложной оценке его произведений. Здесь нет нужды доказывать, что приведенное положение Мережковского ошибочно: это уже доказано всем предыдущим анализом. Мне остается только показать, как эта ошибка отразилась на оценке Мережковского.

Отбросивши добрую половину произведений Достоевского, Мережковский легко свел всю трагедию его героев к трагедии религиозного искательства. Их не удовлетворяет, по мнению Мережковского, религия самопожертвования, самоотрицания, которую провозгласило историческое христианство. В них горит жажда личной жизни, жажда самоутверждения, во имя которого они ополчаются против этого христианства, противопоставляя идее богочеловека свою идею человекобога. Но и здесь они не находят удовлетворения, ибо и эта идея изжита давно человечеством в язычестве. Они чувствуют, что нужна религия,

соединяющая в одно самоотрицание и самоутверждение, а не уничтожающая одно во имя другого. Но найти эту соединяющую религию, религию единства самоотрицания и самоутверждения, они не могут. Отсюда их душевная раздвоенность, которая сводится к религиозной неудовлетворенности. По мнению Мережковского, переживаемая ими душевная драма есть драма всего современного человечества, только они переживают ее глубже массы, мучительней и напряженней ищут выход, смело кидаясь из крайностей самоотрицания в крайности самоутверждения. Они часто падают, ломают себе шею, зато же они близко подходят к новому религиозному сознанию; их смелость и дерзость есть путь к новому религиозному откровению, а в этом откровении заключается спасение их самих и всех нас. Вполне понятно, какое громадное значение приобретают с этой точки зрения произведения Достоевского: в них до последних глубин исчерпано противоречие самоутверждения и самоотрицания, основное противоречие бытия, до сих пор не получившее удовлетворительного решения; в них особенно остро ставится серьезнейшая новая задача человечества — найти религию, соединяющую в одно, разрешающую в единство указанное противоречие, и, наконец, в них ближе всего нащупывается путь к этой религии. Герои Достоевского смутно чувствуют необходимость «физического изменения» сего мира, необходимость «второго пришествия» Христова. Они не ошибаются, говорит Мережковский: близится конец мира, близок момент второго пришествия, и герои Достоевского есть первые ласточки этой грядущей весны. Они действительно больны, страдают ужасно, но это не страдания разложения и смерти, а муки и боли родов: в них зачалось, выносилось и с муками рождается в мир новое религиозное сознание, и момент рождения будет моментом их высшего счастья, и общего счастья. Если у Михайловского произведения Достоевского рождали идею психиатрической лечебницы, то у Мережковского они вызывают идею чудесного обновления мира во втором пришествии. Если первый видит спасение героев Достоевского во врачах психиатрах, то второй видит их спасение в чуде; первый видит в произведениях Достоевского узко-психиатрическое значение, второй — всемирно-мистическое, пророческое, ибо чудо второго пришествия касается всего мира, несет с собой условия совершенно нового бытия, воскресение мертвых и жизнь будущего века.

Не заметивши глубокой внутренней связи между всеми произведениями Достоевского от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых», Мережковский отрезал себе путь к пониманию реальных, действительных причин раздвоенности его героев: за метафизической пеной он не замечает угрюмо бьющих волн нищеты и реального унижения, на гребне которых кипит эта пена. Двойственность религиозного

сознания героев Достоевского есть лишь одно из проявлений раздвоенности их существа, а не все их существо. Религиозное раздвоение не является основным; оно производно, вторично. Достоевский дает целую галерею «двойников», недоросших не только до религиозного, но даже до какого бы то ни было сознания, например, Деушкин, Голядкин, Опискин и др. Он показывает нам много «двойников», не знающих религиозного раздвоения. В то же время двойник, страдающий лишь религиозным раздвоением, совсем невыносим: религиозная двойственность обязательно связывается с двойственностью социального положения, с двойственностью подсознательного склада психики, с раздвоенностью сознания и воли, одним словом, со всеми формами раздвоения личности, которые существовали до раздвоения религиозного сознания и послужили основанием для этого последнего. Все это ускользнуло от внимания Мережковского, он весь ушел в созерцание религиозной смятенности героев Достоевского, не замечая, что не только в удовлетворении высшей, религиозной потребности, потребности всеобъемлющего мирозерцания, являются они двойниками, но что такими же двойниками являются они в удовлетворении элементарнейших человеческих потребностей. Для Мережковского религиозная двойственность приобрела самодовлеющий характер, стала самопричиною и самоцелью, по выражению Державина, «себя собою наполняет, собою из себя сияет». Чтобы так понять Достоевского, нужно было или намеренно отбросить половину его произведений, потому что их не уложишь в прокрустово ложе религиозной проблемы, или нужно было просто не заметить глубокой логической связи между всеми его произведениями, внутренней связи образа Деушкина с образом Карамазова, принять все созданное Достоевским до «Преступления и наказания» *«случайным и наносным»*. Не важно, намеренно или не намеренно сделал это Мережковский; важно, что он это сделал и что это привело его к совершенно ложной оценке значения тех жизненных явлений, с которыми знакомит нас творчество Достоевского.

Ложно, во-первых, что центром, вокруг которого вращается жизнь, развернутая в произведениях Достоевского, является религиозная проблема. Герои его произведений не только люди с раздвоенным религиозным сознанием, не только являются двойниками, мысля о мире: их мысль двоятся и перед социальными, и перед моральными вопросами, они остаются двойниками, мысля об обществе, о человеческой личности; они не только двойники в мысли, они являются такими и по своим чувствам, и по своим инстинктивным влечениям; наконец, они не только психологически, но, если так можно выразиться, они двойники физически, занимая материально двойственное положение в обществе. Все эти стороны их раздвоенности связаны

неразрывно, так что невозможно покончить с религиозной раздвоенностью, не покончивши с раздвоенностью социальной, нельзя переродиться духовно в смысле гармонии, не переродившись в этом же смысле материально, то есть не изменивши фактического положения в обществе. Герои Достоевского мучатся не только религиозной неустойчивостью и противоречиями, но и неустойчивостью и противоречием своего общественного положения; они ищут не только веры в вопросах религии, но и твердого удовлетворяющего их положения в обществе. Значит, произведения Достоевского ставят не только задачу религиозно-созерцательную, но и общественно-практическую. Нельзя, как это сделал Мережковский, отрывать первую задачу от второй, метафизическую от реальной: они должны быть разрешены вместе, или не будет решена ни одна из них. Нельзя создать религиозного сознания, в котором слились бы гармонически личность и мир, «я» и «не я», не поставивши человека материально в такие условия, чтоб самоутверждение и самоотрицание, эгоизм и альтруизм перестали быть противоречивыми терминами. Без новых материальных условий, без изменения общественного положения «двойников», для них немислимо никакое новое религиозное сознание, а без такого положения в обществе, при котором их личность была бы солидарна с другими, для них невозможно религиозное сознание единства самоутверждения и самоотрицания.

Ложно, во-вторых, будто драма героев Достоевского есть общечеловеческая драма, будто его герои идут к открытию новой религии, которая утолит жажду всего человечества. Ложно потому, что религиозная раздвоенность есть лишь одно из проявлений раздвоения и что это идеологическое раздвоение невозможно без раздвоения материального, без двойственности социального положения. Но я думаю, ни Мережковский, ни кто-либо другой не решится утверждать, что двойственность, колеблющееся положение в обществе есть удел всего человечества и не удел только определенных общественных групп. Для тех же, кто не имеет перед собой задачи выпутываться из тяжелого, двойственного социального положения, не существует и второй половины задачи — освободиться от двойственного религиозного сознания, не существует потому, что нет самой этой двойственности. Образы таких людей дает тот же Достоевский хотя бы в Валковском или Зосиме, и я прибавлю, что на этих образах свет клином не сошелся, что существуют люди глубоко отличные по своему складу от этих героев Достоевского и в то же время не больные раздвоенностью религиозного сознания.

Ложно, наконец, что в героях Достоевского зачинается новая религия, в которой будто бы гармонически сольются самоутверждение

и самоотрицание. Фактически для героев Достоевского отрезан всякий путь гармонически-полного развития. В религиозной области они так же бессильны, как бессильны в обществе: подобно тому, как усиление неустойчивости их общественного положения нисколько не знаменует будущей устойчивости, а грозит падением на дно, подобно этому и усиление двойственности их религиозного сознания вовсе не обещает разрешения в единстве. В произведениях Достоевского нет ни малейшего намека на такое разрешение. Герои его произведений не приходят и не могут прийти в гармонию с обществом, согласить свое «я» с социальным «ты»; для них открыты только два пути — или путь Орловых, приносящих «ты» в жертву своему «я», или путь Мармеладовых, приносящих свое «я» в жертву «ты»; и в области религии для них нет выхода, кроме индивидуализма Кириллова или самоотречения Зосимы. Герои Достоевского всё дальше и дальше удаляются от религии единства «я» и «не я», эгоизма и альтруизма, а не приближаются к ней <...>.

Ложно, следовательно, искать в произведениях Достоевского новое откровение, видеть в его героях пророков новой, обновляющей мир религии. Путь, на который они ступили, ведет не к правильному решению вопроса об отношении человека к миру, а к безысходной путанице; они зашли в тупик, откуда нет исхода. Путь, по которому идут они, никогда не откроет им единства «я» и «не я», как бы далеко не ушли они по этому пути. Об этом и только об этом говорят произведения Достоевского. Иван Карамазов, Кириллов, старец Зосима — вот крайние точки этого пути, и эти точки: психиатрическая больница, самоубийство, монастырь. Не человечество будет просить займы масла для светильников у героев Достоевского, а оно само должно наполнить маслом их гаснущие, горящие неверным, блуждающим огоньком светильники, дабы они не заблудились и не погибли в тупых переулках. «Концы соприкоснутся, проснутся “да” и “нет”, и “да” и “нет” сольются, и смерть их будет свет, — говорит Мережковский, — свет, кажущийся столь унылым и будничным, нетаинственным, на самом деле столь полный тайны, столь радостный и предзнаменующий, свет последнего раздвоения и соединения, молнии, соединившей небо и землю — свет электричества». В здоровой, творческой части человечества «концы» всегда были слиты, всегда и в мысли, и в деятельности их горел этот радостный свет, кажущийся Мережковскому столь таинственным. В героях Достоевского концы разошлись, и свет погас; лишь мелкие искры мелькают во мраке. Они показывают здоровым людям, что случится, когда концы не сведены с концами, но, конечно, не от них будут заимствоваться «радостным светом» люди здоровые, а они сами возьмут на себя дело соединить в них разорванные концы.

Несмотря на то, что Мережковский относится с уважением и сочувствием к творчеству Достоевского, ценит очень высоко его произведения, несмотря на это, в его отношении и оценке, с моей точки зрения, много грубости, бессознательного издевательства. Герой народной сказки с самым искренним расположением говорит встречным, плакавшим за похоронной процессией: «Бог помощь! Носить вам не переносить, возить не перевозить», даже не подозревая, что его расположение выражается в форме, похожей на издевку. У Достоевского панихида, а Мережковский поздравляет его с родинами, и понятно, что из какого бы глубокого расположения ни истекало его поздравление, оно звучит несколько оскорбительно.

Мережковский не сумел понять всей глубины и всего трагического значения той раздвоенности, о которой говорят произведения Достоевского. Остановившись только на метафизических верхах этой раздвоенности, он сделал ее гораздо исключительней, чем она есть в действительности, ибо все-таки Карамазовы — единицы, а Девушкины — тысячи. Ограничившись метафизической стороной дела, он многостороннюю драму раздвоенности сделал узкой, бесплотной, отвлеченной; за трагедией духа в его высших проявлениях он не заметил материальной трагедии, трагедии тела с его реальными болями, кровью, слезами. Этим и объясняется тот факт, что герои Достоевского вызывают к себе со стороны Мережковского такое отношение, которое можно было бы принять за издевательство и глумление над ними, если б оно не было простой близорукостью. «Раскольников сделал то, что сделал — “для себя, для себя одного”, — но если б он мог прибавить и для Бога, то был бы спасен», — говорит Мережковский; преступление Раскольникова в том, что он переступил «не для Бога»; в том же, по мнению Мережковского, и преступление Сони: она «переступила тот предел самопожертвования, который человеку позволено переступать не для других и не для себя, а только для Бога». Говорить убийце, что он был бы спасен, если б убил не для себя, а для Бога, говорить проститутке, что она была бы спасена, если б проституировала не для себя, а для Бога, — что это, если не издевательство над убийцей и проституткой! От чего спасет их это сакраментальное «для Бога»? Я представляю себе Соню в первую ночь ее падения: молча вернулась она с улицы бледная, трясущаяся, выложила деньги на стол, легла на дырявый диван, закутавшись с лицом в старый драдедамовый платок, и неслышно заплакала; а рядом Мережковский, разъясняющий ей, что она погибла потому, что проституировала ради голодной семьи, ради себя и других, и что если б она проституировала «для Бога», то не погибла бы, а спаслась. Право, есть что-то жуткое и отталкивающее в этой сцене.

Мережковский хорошо понял сущность религиозной драмы, переживаемой героями Достоевского, понял, что их религиозная мысль мучится противоречием «я» и «не я», человека и мира, что она бесильно бьется над решением этого противоречия, то провозглашая человека богом, то провозглашая богом мир, то кидаясь в безудержное своеволие, то в абсолютное смирение. Но он не заметил других сторон этой драмы: он понял ее отвлеченно-метафизическое выражение и проглядел ее материально-практическое выражение. Не охвативши болезни во всем ее объеме, он возится с одним из ее симптомов и потому оказывается совершенно бессильным, как только дело доходит до борьбы с болезнью. Из всех болезненных симптомов он только и видит противоречие в религиозной мысли «я» и «не я», личности и мира: для выздоровления необходимо примирение в религиозном сознании противоречивых терминов, необходимо; чтоб «я» и «не я» гармонически слились в единство. Но как же возможно это единство и в чем оно заключается? Этого Мережковский не знает. На вопрос, как возможно примирение противоречивых терминов, у него есть лишь один ответ: путем *чуда*, на вопрос, в чем будет заключаться здоровое религиозное сознание, он отвечает: *тайна*. Другими словами, не отвечает ровно ничего. Он твердо убежден, что болезнь будет иметь благоприятный исход, верит, что болезнь сама в себе несет свое исцеление, что она приведет не к смерти, а к воскресению. Но если вы спросите его, на чем основано это убеждение, он ответит: *верую*. Если бы Мережковский изучил все болезненные симптомы раздвоения, он узнал бы, что его вера не основательна; он увидел бы, что болезнь героев Достоевского ведет к верной гибели, если ее предоставить самой себе, что она подточила последние силы больных, сделала их совершенно беспомощными, что предоставить их самим себе — значит обречь их на неизбежную смерть; он узнал бы печальную истину, что муки героев Достоевского не муки рождения, а муки разложения. Но зато он приобрел бы другое утешительное и бодрящее значение: он разгадал бы тайну здоровья и чудо исцеления, он получил бы ясное представление о том, в чем заключается единство «я» и «не я» и какими путем можно гармонизировать метафизическое сознание «двойников». Он не верил бы больше в самопроизвольное исцеление «двойников», не ждал чуда, но зато он решительно и деятельно поднял бы борьбу против болезни, одушевляя примером других, творя силой *знания* чудо исцеления. И я убежден, что именно это было бы истинно человеческим отношением к героям Достоевского и, следовательно, к массе живых людей, представителями которых они являются, что именно это было бы достойным служением памяти Достоевского.

Именно так смотрел на дело Добролюбов, и мне кажется, что оценка Достоевского, сделанная им в статье «Забитые люди», до сих пор является лучшей в критической литературе³. Статья Добролюбова была написана еще в ту пору, когда талант Достоевского не успел развернуться во всей своей глубине и силе, и тем не менее критик с удивительной проницательностью уловил основной тон его творчества: «В произведениях Достоевского, – писал он, — мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он написал: боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком, настоящим, полным, самостоятельным человеком самим по себе». В том и видел Добролюбов значение и ценность произведений Достоевского, что они имели целью заинтересовать читателя судьбой этих «забитых людей», ставили перед ним вопрос о причинах этого явления, требовали от него ответа на вопрос: где же выход для этих несчастных, «бедных людей?» Ответить на эти вопросы с достаточной определенностью Добролюбов не мог по условиям времени; он должен был ограничиться намеками и надеяться на догадливость читателя. Заканчивая свою статью, он писал: «Так, стало быть, положение этих несчастных, забитых, униженных и оскорбленных людей совсем безвыходно? Только им и остается, что молчать и терпеть, да, обратившись в грязную ветошку, хранить в самых далеких складках ее свои безответные чувства? Не знаю, может быть, и есть выход»... Он не указывал определенно выхода, но он говорил своему читателю о том, что его обязанность поискать выхода, что произведения Достоевского требуют от него напряженной мысли и деятельной реакции. Последующая критика отстранила этот вопрос, поставленный Добролюбовым по поводу произведений Достоевского. Одни отстранили его тем, что увидели в героях Достоевского не несчастных и забитых людей, а людей глубоких и в некотором роде пророческих, не людей, для которых мы должны поискать выхода, а людей, у которых мы должны поучиться; другие отстранили вопрос Добролюбова тем, что объявили героев Достоевского «монстрами» и передали их в ведение психиатров. И ту и другую точку зрения я считаю шагом назад по сравнению с добролюбовской.

В произведениях Достоевского развертывается жизнь, полная мучений и отчаяния. Он показывает, как бьются люди в безысходных противоречиях, как разбиваются они в бесплодной борьбе. Одинокие и затерянные в бешеной сутолоке городской жизни, затертые и забитые, неуверенные в завтрашнем дне, они мечутся, потерявши голову, доходя до безумия, до преступления. Дойдя наконец до последних пределов отчаяния, утративши всякую веру в себя, смирившись, они застывают в пассивном терпении, лелея, как единственное уте-

шение, веру в возможность чуда. С проникновенным чувством рисует Достоевский все перипетии скорбного существования «бедных людей», раскрывая перед читателями весь тернистый путь от «подполья» до «мертвого дома». Он сам переживает все их страдания, волнуется их волнениями, думает их думами. Художник болит душой за своих погибших и погибающих; он напряженным взором следит за каждым самым отчаянным и самым рискованным их шагом в надежде, не здесь ли выход, не тут ли спасение; он сам ищет для них исхода и других зовет принять участие в этих поисках. Его пугает бессилие его героев, безнадежность их положения. С болью в сердце слышит он признание подпольного героя: «Мы мертворожденные да и родимся уже давно от неживых отцов», признание, которое в конце концов повторяется каждым из «двойников». Ему жутко, что не слышно бодрящего голоса, что ниоткуда нет помощи, что всюду, куда ни кинет он взор, расстилается царство гибели, одиночества и молчания. Нарушить молчание хочет он, услышать бодрящий отклик: «Есть ли в поле жив человек? — кричит русский богатырь. Кричу и я не богатырь, и никто не откликается»...

Итак, что же — «положение этих людей совсем безвыходно?» Неужели нет в поле «живого человека?» Неужели нет силы, способной подняться над сферой борьбы всех против всех, выносить в своей груди иные чувства, чем господства и смирения, положить конец беспощадной давке людей?

Есть в поле «жив человек»; он родился в тех же условиях слепой сутолоки и безжалостной конкуренции, но не для того, чтобы подчиниться и пасть под ее ударами, а для того, чтоб победить и подчинить ее власти человеческого ума и воли. В условия конкуренции с ее жестоким законом: либо молот, либо наковальня, с ее победителями и побежденными, с торжествующим верхом и забитым дном, он внес новую, свежую струю коллективного труда, согласованной творческой деятельности, вместо стихийного столкновения бесчисленных «я», согласное «мы», в котором гармонически сливаются миллионы различных «я». В этом великом «мы» и только в нем находит разрешение в единство противоречие «я» и «не я», только здесь противоречие самоутверждения и самоотрицания, эгоизма и альтруизма разрешается в высшем синтезе морали солидарности. Превратить общественную жизнь в коллективно организованное творчество, сделать чувство личности из индивидуального социальным, обратить «я» в «мы» — такова историческая задача «живого человека». И он выполнит эту задачу, он чувствует и сознает в себе силу исполнить ее. Конкуренция не разбила и не обессилила его, бешеный вихрь городской жизни не закружил его в своем водовороте. Среди взбалмошного кипения

городской жизни он не одинокая, затерявшаяся песчинка. С тысячами своих товарищей он несет на своих плечах эту шумную жизнь, своими мускулами и своими нервами он творит всё это движение. И он сознает это, он чувствует свою силу и власть над этим движением; он не раз уже испытал свою силу, на опыте убедился, что он властен остановить поток городской жизни. Он прекращал свою творческую работу, и мгновенно замирала вся эта жизнь: останавливалось движение, превращалась торопливая беготня и давка, город не кипел, не гремел, а засыпал тяжелым летаргическим сном; но вот снова напрягал он свои мускулы, снова принимался за свою творческую деятельность, и город, как по мановению волшебного жезла, оживал, оглушал шумом и усиленно суетился, как бы стараясь наверстать потерянное время. Перед лицом города рабочий не испытывает того чувства одиночества и беспомощности, какое испытывают герои Достоевского. Городская жизнь не пугает его, не содержит в себе ничего фантастического, ничего таинственного. Он знает пружины, приводящие ее в движение, знает, что среди этих пружин его собственные силы занимают первое место. Загадочный взор сфинкса-города не смутил его, не парализовал его мысли: он разгадал загадку сфинкса, и вот в глазах сфинкса вместо загадки испуг. «Мудрый Эдип» пришел: он понял «базар житейской суеты», напоминающий город, понял весь механизм городской жизни, понял всю неуклюжесть, все несовершенства и недочеты его. Он узнал, «отчего гибнут даром могучие силы», отчего гибнут Девушкины, Мармеладовы, Раскольниковы, узнал, «кто виноват?» Разбить и перестроить неуклюжий общественный механизм, превращающий тысячи людей в игрушки слепых сил, подтачивающий силы человека, разрушающий гармонию его существа, стало задачей «живого человека». С утра до ночи пристально изучает он ход общественного механизма, с утра до ночи слышен стук его молота: он кует условия новой, более полной, широкой и гармоничной жизни.

И понятно, как много могут и должны сказать уму и сердцу «живого человека» произведения Достоевского. В них в сжатом, как бы сгущенном виде, собрано страдание, причиняемое неуклюжестью общественного механизма. Они раскрывают его уму, до какой степени дисгармонии и разладицы с самим собой, с обществом, с миром доводится человек этими общественными условиями. Они показывают ему, как много человеческих жизней размалывается между колесами социальной машины. «Живой человек» не остановится с недоумением перед жизнью, развертывающейся в произведениях Достоевского: страдания и муки его героев, их дикие, преступные порывы, всё поймет он. Он поймет и тоску их одиночества, и муки сомнений, и дикое озлобление, и холодную жестокость, и тихую, грустную покорность. Он знает,

что и в их жестокости, и в их покорности сказывается жажда гармонии и согласия, вырванная у них нелепой взбалмошностью социальной жизни. На их безумные метания, одновременно жалкие и страшные, как агония умирающего, пропитанные слезами и кровью, он ответит не постройкой психиатрических больниц и тюрем и не проповедью веры в чудо, а энергичной работой в смысле гармонизации жизни. Произведения Достоевского заставят его глубже почувствовать всю важность его творческой работы, заставят его глубже оценить значение идеала всеобщей солидарности, воплотить которую он поставил своей задачей. Сплошной стон боли и страдания, который несут произведения Достоевского, найдет себе здесь деятельный отклик; в сердце «живого человека» он отдастся призывом к неустанной работе и творчеству, даст ему живее проникнуться сознанием святости своего дела и радостным сознанием своей силы исполнить его. Не беспредметное «трепетание нервов» и не молитвенное ожидание чуда вызовут произведения Достоевского в «живом человеке», а жажду активного вмешательства мыслью и делом, жажду оказать активную помощь. В этой способности волновать сердца «живых людей», будить в них чувство тоски и боли за «бедных» и «подпольных людей», побуждать их мысль и волю к энергичному действию я и вижу значение творчества Достоевского, эту способность, я думаю, и следуете выше всего ценить в них.

